

С. В. БЕРЕЗКИНА *

**«ТЫ БЕСКОНЕЧНО ДОРОГ МНЕ...»
(ИЗ ПИСЕМ Я. Л. БАБУШКИНА И О. И. ИЛЬИНСКОЙ
К Г. М. ФРИДЛЕНДЕРУ, 1941–1946)**

Ключевые слова: Г. М. Фридлендер, исправительно-трудовой лагерь Севжелдорлаг, эпистолярное наследство, Рукописный отдел Пушкинского Дома.

Публикуются письма Г. М. Фридлендеру, открывающие неизвестные страницы ранней биографии ученого, в частности его пребывание в исправительно-трудовом лагере Севжелдорлаг.

Архив академика Г. М. Фридлендера (1915–1995), фонд 929, поступивший в Рукописный отдел ИРЛИ в 2014 г., в настоящее время находится в стадии научно-технической обработки. Особую часть его составляют письма военных лет, которые Г. М. Фридлендер вывез из поселка Жэшарт Усть-Вымского района Коми АССР, где он, мобилизованный в так называемую «трудовую армию», работал в 1942–1945 гг. Здесь находилась отдельный лагерьный пункт (ОЛП) Севжелдорлага — исправительно-трудового лагеря, обслуживавшего Северо-Печорскую железную дорогу¹. Жешартская колонна занималась главным образом лесозаготовками (в частности, дров для паровозов и шпал)². О том, что Г. М. Фридлендер, как немец согласно документам, прошел через «лесоповал», кратко упоминали отдельные мемуаристы³. В лагере он вел переписку с широким кругом своих друзей, рассыпавшихся по всей территории огромной страны — в действующей армии и в тылу, в блокадном Ленинграде и в эвакуации. Архив, однако, доносит до нас

* Светлана Вениаминовна Березкина, д-р филол. наук, вед. научн. сотр. Института русской литературы (Пушкинский Дом) РАН — s.berezkina@mail.ru.

¹ Об отряде трудмобилизованных немцев в Севжелдорлаге см.: Система исправительно-трудовых лагерей в СССР. 1923–1960 / Сост. М. Б. Смирнов. М., 1998. С. 381.

² Морозов Н. А. Мобилизованные группы советских граждан на предприятиях Коми АССР в 1942–1946 гг. // Покаяние: Коми-Республиканский мартиролог жертв массовых политических репрессий. Сыктывкар, 2013. Т. 10. Ч. 1. С. 67–69.

³ Дьяконов И. М. Книга воспоминаний. СПб., 1995. С. 532; Дьяконова Н. Я. Мои воспоминания // Достоевский. Материалы и исследования. СПб., 2007. Т. 18. С. 437–438; Лотман Л. М. Г. М. Фридлендер в моей памяти сквозь долгие годы общения и сотрудничества // Там же. С. 449–450.

не только их голоса – мы можем прочитать и письма из лагеря самого Георгия Михайловича, которые сохранила среди семейных бумаг его мать, Анжель Морисовна Фридендер (1886–1956), прожившая всю блокаду в Ленинграде. Переписка военных лет сына с матерью — это большой, около трехсот текстов, комплекс писем и телеграмм, представляющий значительную историко-биографическую ценность. В настоящей же статье мы хотели бы остановиться на нескольких письмах друзей Фридендера, полученных им в лагере (одно из них — почти сразу же после отъезда оттуда, с характеристикой его «послелагерного» настроения). Эти письма — свидетельство тесной дружбы того студенческого кружка, который объединился вокруг него в годы, проведенные в стенах Ленинградского университета (1932–1937). В основе этого студенческого братства была общность интересов широкого мировоззренческого и научно-культурного характера⁴.

Письма Я. Л. Бабушкина и О. И. Ильинской публикуются по автографам с незначительными сокращениями (в первую очередь того, что требует расширенных комментариев). В примечаниях приведены цитаты из писем, хранящихся в архиве Г. М. Фридендера, без конкретизации шифра хранения. Орфография и пунктуация приведены к современной норме.

1

Я. Л. Бабушкин — Г. М. Фридендеру

<15 декабря 1943 г. Ленинградская обл.>

Эх, милый мой друг!.. Конечно, я не прав, что не выполнил твоей просьбы, но и не я виновен в этом¹. Я не стану описывать свои шаги в этом направлении. М<ожет> б<ыть>, они были неумелы, или недостаточно их было много, но то, что я смог придумать сам и по совету, — я сделал. Немного у меня оставалось времени «сидеть на коне», а когда я с него слетел — все возможности улетучились. Теперь я могу только от всего сердца сказать тебе, что ты, именно ты бесконечно дорог мне и по своей роли в моей личной судьбе, и потому, почему ты дорог должен быть всем нам, служившим будущему советской культуры². Я бы желал, чтобы это многое прибавило тебе крепости в жизненных испытаниях, как придает мне упорства мысль о том, что трудности, выпавшие на долю моих друзей, не заставили их измениться или согнуться.

Уже полгода я оторван, по существу, от Ленинграда и топчу разные закоулки нашего фронта рядовым солдатом. В боях мне быть

⁴ Яркую характеристику этого дружеского кружка, наряду с воспоминаниями И. М. и Н. Я. Дьяконовых и Л. М. Лотман, см.: *Тамарченко Г. Е.* Судьба одного семейства: На крутых поворотах советской истории. Киев, 2001. С. 65–82.

не приходилось пока, силы у меня еще есть, и я спокойно смотрю в будущее. В недалеком времени я стану младшим командиром³. Верю, что все впереди будет лучше, чем то, что прошло.

Из-за плохой связи с городом я не знал ничего о тебе. Письмо, пришедшее недавно от Анж<ель> Мор<исовны>, сбilo меня с толку (оно укрепило слух, что ты можешь в скором времени оказаться там, куда звал и Миша)⁴. Адрес твой (п<очтовый> я<щик>, без указания места), который А<нжель> М<орисовна> дала мне летом, пропал в передрыгах. Поэтому я пишу т<оль>ко сейчас, получив его вновь. В моей судьбе нет ничего исключительного. Несмотря на наличие определенных принципиального характера причин, создавших и углубивших разногласия с руководством вплоть до снятия, я не переоцениваю их значение. Может быть, все бы могло сложиться иначе, не прояви я чрезмерной наивности и безразличия к своей личной судьбе. Верю, что у меня будет еще возможность это исправить, вернее, учесть. Что касается той людской мелкоты, которая в глупости, неразборчивости и зависти спутала меня по рукам и ногам и сбila с последней и настоящей работы, то в ее лице я вижу все ту же столь ненавистную мне и, к сожалению не единственную, деловую никчемность, необразованную беспринципность, неумение распознавать людей по их делам и неумение служить советской власти и народу там, куда они их поставили для руководства. И я укрепляюсь в своей ненависти к этим качествам. Ничего, ничего! Придет время, отрастут рога и у бодливой коровы...

Я горд сознанием того, что в обширной истории страшных лет нашего города не смогут быть обойдены и плоды малой, но моей личной работы, результаты усилий моего сердца, мозга, капли моего пота и здоровья. Оглядываясь на свою жизнь, я вижу не мало дурного и в качествах, и в делах. Но я не загубил и не оставил про себя ни одной реализуемой практически частицы хорошего, которое наживал в своем внутреннем росте. А м<ожет> б<ыть>, только я один и способен оценить, сколь индивидуально труден был путь этого роста. Дорогой Юрка! Еще очень трудно, м<ожет> б<ыть>, но пока нам не перебили ноги, будем думать о дороге вперед. Нам есть на что оглянуться. В стремлении к правде и в деловой принципиальности был у нас не только юношеский порыв и ребячливое презрение к жизненным благам. Там было и подлинное бесстрашие, которое может пригодиться сейчас.

Более полугода я не могу списаться с Лялей⁵. Недавно получил ее первое письмо. <...> Лялька трогательно и с любовью писала о тебе. Я думаю, отсутствие от нее писем — случайность: они придут, м<ожет> б<ыть>, уже пришли.

Будь здоров и крепок, дорогой мой. Успехи наши действительно велики. Мы отпраздновали последний военный Октябрь, придет, нес<омненно>, и новый, мирный. М<ожет> б<ыть>, мы его еще встретим не вместе, но будем думать иначе. Обнимаю и целую тебя. Яша.

¹ Текст письма частично опубликован: *Биневиц Е. М.* Свидетельства о Якове Бабушкине // Звезда. 2015. № 12. С. 228. Освещение деятельности Я. Л. Бабушкина в годы ленинградской блокады — большая заслуга Е. М. Биневица, неоднократно публиковавшего в различных газетах статьи о нем (о его интересе к этой теме см.: *Берг Р. Л., Биневиц Е. М., Тамарченко А. В.* Переписка из трех углов: Эпистолярный роман. СПб., 2009. С. 54, 97 и след.; полемические заметки об отражении образа Яши Бабушкина в «Блокадной книге» А. М. Адамовича и Д. А. Гранина см.: Там же. С. 91–93); его статья в журнале «Звезда» имела обобщающий характер.

Имя Якова Львовича Бабушкина (1913–1944) увековечено в посвящении ему книги О. Ф. Берггольц «Говорит Ленинград» (1946). В 1941–1943 гг. он был главным редактором литературно-художественного вещания Ленинградского радиокомитета, и его работа была отмечена рядом чрезвычайно важных для блокадного города начинаний (см.: *Берггольц О. Ф.* Дневные звезды. Говорит Ленинград. М., 1990. С. 184–186, 206 и след.). «О Яше люди рассказывают легенды, — писал Фридендеру с Карельского фронта И. М. Дьяконов 9 мая 1942 г., — о его организационных способностях, деятельности». Воспоминания о нем сотрудников Дома радио единодушно представляют Яшу Бабушкина как личность удивительно светлую и самоотверженную. С Юрой Фридендером он сблизился в годы учебы сначала в ЛИФЛИ, а затем, после преобразования института, на филологическом факультете ЛГУ. Бабушкин снимал комнату в Тучковом переулке, рядом со Второй линией, где жили Фридендеры. А. М. Фридендер была знакома со всеми друзьями сына, участливо относясь к перипетиям их жизни. Во вторую блокадную зиму Бабушкин сумел устроить ее машинисткой в Радиокомитет, с проживанием там же в общежитии, где были освобождавшие от тяжелых блокадных забот свет и тепло, и обеспечением питания в столовой по «рабочей» карточке. Это было тем более необходимо, что зима 1941–1942 гг. нанесла большой урон здоровью А. М. Фридендер, пережившей смерть мужа и домработницы Марии Георгиевны, давнего друга по сути дела всей семьи. Она видела и последние дни работы Яши в Радиокомитете.

Бабушкин был уволен из Ленинградского радиокомитета 16 апреля 1943 г. Причины его увольнения неясны; в литературе о блокаде, с отсылкой к ряду свидетельств, утвердилось мнение, что он был уволен как еврей (см.: *Рубашкин А. И.* Голос Ленинграда: Ленинградское радио в дни блокады. 3-е изд., испр. и доп. СПб., 2005. С. 194–208; *Биневиц Е. М.* Свидетельства о Якове Бабушкине. С. 218–229). Конфликтная ситуация в Радиокомитете вокруг Бабушкина, по-видимому, имела эту подоплеку, хотя в откликах друзей и близких, писавших Фридендеру, она не обладала столь явным, вне общественно-культурного контекста того этапа войны, «огрублением». Тема государственного антисемитизма еще не была в ходу, о чем свидетельствуют воспоминания Г. Е. Тамарченко, который с удивлением выслушивал рассказы о нем, вернувшись после демобилизации в Киев в 1946 г. (см.: *Тамарченко Г. Е.* Судьба одного семейства. С. 117, 125–126, 146). В письме к матери от 19 января 1944 г. Фридендер так охарактеризовал публикуемое нами письмо Яши: «Несмотря на неприятности, вызвавшие его уход с радио, настроение у него хорошее, и на прошедшее он смотрит как на неизбежную школу жизни». Между тем, в письме Бабушкин с сожалением писал о проявленных им «чрезмерной наивности и безразличии к своей личной судьбе». Что он имел в виду? Письма того времени писались с оглядкой на военную цензуру, читавшую их, и это зачастую делало их непонятными для адресатов (как и для нас, когда мы читаем военные письма). Возможно, здесь Бабушкин намекал на свое окружение. С той же оглядкой была сделана Яшей и приписка на письмо А. М. Фридендер (а она была его секретаршей) к сыну в начале весны 1943 г.: «Что касается меня, то я достаточно трезвый и взрослый человек, чтобы не питать иллюзий. В этом, как и в том, что меня ничто не остановит в стремлении установить истину, можно быть уверенным». Истину Бабушкин намеревался искать в Москве, что, возможно, предполагал какую-то служебную докладную (донос) на него (следует отметить, что человек, занимающий его пост, был послан в блокадный Ленинград из Москвы). В той же приписке

Бабушкин просил друга быть осторожным в его письмах к матери, адресованных в Дом радио (письма должны отправляться только на ее имя — и ни на кого другого в качестве посредника): «...она должна знать только то, что знает сейчас. И это для нее довольно трудно».

История с увольнением Яши очень волновала и его жену Лялю, О. И. Ильинскую (см. о ней ниже), которая в 1941–1944 гг. жила в эвакуации в Иркутске. Она писала о нем Фридендеру со ссылкой на сообщение Н. И. Виноградова (1898 — после 1951), мужа своей золовки А. С. Стрелиной, преподавателя Ленинградского планового института. В письме Ильинской от 22 июня 1943 г. говорилось: «От Яшки за это время получила только одну телеграмму: “Здоров. Работаю на новой работе”. Даже адреса нет, так что я и написать ему не могу. По невнятным письмам Коли Виноградова можно догадаться, что у Яши были какие-то неприятности в связи с его экспериментаторской деятельностью в радио, и он сам захотел уйти. Но Колька не мастер изъясняться, да и не знает он всего этого толком. <...> От Яши и от Коли я этого узнать не могу. Правда, я просила Кольку узнать у Якова о ее судьбе, но он видит Яшу очень редко». 23 августа 1944 г., уже из Москвы, Ильинская сообщила Фридендеру поразивший ее рассказ ленинградца о муже, к тому времени (в феврале 1944 г.) уже погибшем (ленинградец фигурирует в нем как Вилька — это известное в узком кругу прозвище В. Я. Александрова (1896–1995), биолога и цитолога, лауреата Сталинской премии, хорошего знакомого Ляли с 1930-х гг.): «С Вилькой мы порешили попробовать поднять дело о Яше и его уходе из комитета. Этот уход, как, может быть, тебе неизвестно, связан с травлей, а травля с такими вещами, о которых лучше не поминать. Вильку, как поклонника Шеломы Алейхема <sic> и Лиона Фейхтвангера, это дело интересует не только из дружеских отношений к Яшке, но и принципиально. Может быть, пока еще и можно что-нибудь сделать. От одной мысли, что негодяи, отравившие ему жизнь, отнявшие у него работу, которую он выполнял героически, может быть, даже замаравшие его репутацию, сидят и распоряжаются этим любимым Яшиным делом, приводит меня в состояние ярости и негодования. Да и не об одном Яше идет тут речь. Скоро Вилька поедет в Ленинград и там выяснит все обстоятельства этой грязной истории. Неужели люди, которым Яша отдавал свой хлеб в самые голодные дни, которых он любил так, как никто не любит братьев и сестер, откажутся принять участие в восстановлении его доброго имени? Впрочем, пока еще всё это довольно темно и неясно. Может быть, даже и те разговоры о причинах травли, которые до меня дошли, — сплетни мнительных людей».

Можно считать, что именно в письме Ильинской было найдено слово, которое объясняет обстоятельства увольнения Бабушкина из Радиокomiteта: это была травля, по-видимому, на основе каких-то служебных промахов (а все радиопередачи находились под бдительным идеологическим контролем обкома), причем сопровождалась она «партийной» борьбой, в которой была разыграна «национальная карта». Известно, что обвинения в антисемитизме были крайне опасны в служебном обиходе того времени. Их не прощали, поэтому даже сама борьба с травлей такого рода была обречена на неудачу, поскольку она «очерняла» национальную политику партии и правительства. Я. Л. Бабушкин вполне мог проявить здесь какую-то «наивность».

По-видимому, речь идет о просьбах, связанных с помощью А. М. Фридендер.

² Я. Л. Бабушкин пишет о том воздействии, которое оказал на своих друзей Г. М. Фридендер, участвовавший во второй половине 1930-х гг. в разработке марксистской эстетики, с нацеленностью ее на разгром вульгарной социологии. О том же самом как о важнейшем этапе в формировании своей мировоззренческой позиции пишет О. И. Ильинская в письмах к Г. М. Фридендеру (см. ниже). Г. Е. Тмарченко называл Г. М. Фридендера «главным теоретиком» всего студенческого кружка (*Тмарченко Г. Е. Судьба одного семейства*. С. 67).

³ Я. Л. Бабушкин обучался в военном училище под Кингисеппом и вышел оттуда в звании сержанта.

⁴ Имеются в виду хлопоты по вызволению Г. М. Фридлендера из «трудовой армии», которые предпринимал на протяжении 1942–1945 гг. Михаил Александрович Лифшиц (1905–1983), философ-марксист и теоретик искусства, с которым он был связан тесными дружескими и творческими узами с 1935 г. В 1943 г. Лифшиц служил в политуправлении Наркомата ВМФ.

⁵ Имеется в виду О. И. Ильинская (подробнее см. ниже).

2

О. И. Ильинская — Г. М. Фридлендеру

<12 декабря 1941 г. Иркутск>

Дорогой мой друг, «перерыв», о котором ты пишешь наступил. С 17/XI (молния от Яши) не имею известий из Ленинграда. <...> О Яше и все время я больше беспокоюсь. Ну, следует, нужно надеяться. И я надеюсь. Надеюсь даже и на то, что увижу еще милого, дорогого друга нашего Шуру¹.

<...> Может быть, письма из Ленинграда теперь опять возобновятся. Ты завидуешь моей занятости. Нет, я себе не завидую. 8 верст в день² + бессонная ночь и 6–8 часов говорения — для меня это многовато. Всё же лучше, конечно, чем без работы. Боюсь, что наедет из Москвы какой-нибудь профессор, и вылечу я на свежий воздух. Сами лекции доставляют мне огромное удовольствие. Может быть, это тоже «эгоцентризм» или еще какое-нибудь свинство? Во вторник делала в университете доклад студентам о Сурикове и Репине. Они отнеслись к докладу с энтузиазмом. После доклада остались со мной разговаривать еще часа на два, и мы от живописи переехали к разговорам «за жизнь». Они провожали меня и просили еще докладов. Историки, которые тоже пришли на доклад, на другой день просили у декана, чтобы я у них читала литературу. Все это приятно не только для самолюбия, нет, а главным образом потому, что радостно видеть этих жадных до учения ребят, очень хороших, молодых. И радостно, что я, декадентская мадамочка, могу дать им то, что выстрадала и над чем думала в печальные ночи после папиного исчезновения³. Дружба с вами, папина судьба, <...> первые дни войны. Вот мои душевные университеты. И кое-что, оказывается, накоплено за жизнь. Когда говорю с ними, чувствую себя полной, как закупоренная пивная бочка. Спасибо тебе, родной. Без тебя, без Яши и Шуры, я кормила бы этих ребяток сухой пищей, а они изголодались. Им ужасно хочется объединить свою науку с жизнью общей и своей, а этому их не учат. Я ужасно мало знаю, и если ты «неуч», то я — в квадрате, но, благодаря моим друзьям, я не утратила живого отношения к «науке». А это моим студентам и нужно. Чувствую, что ты воспринимаешь эти разговоры как свинство. «До этого ли теперь сколько-нибудь нормальным людям?» Ох, видно — я «ненормальная». Правда, когда с фронта грустные известия, я не

могу всем этим заниматься, а сейчас как-то снова воскресла жадность к жизни, и верю в лучшее.

Если бы и Шура... Юра, родной мой брат, неужели никогда не увидим мы его? Все время он со мной. Особенно последняя встреча в Москве, и то, как он приходил в Ленинграде, снимая калоши у двери, входил вразвалочку, садился у печки, и начинались чудесные разговоры, от которых в памяти ни слова не осталось, а чувство дружбы, уважения и огромной близости.

А теперь я ночью проснусь, и это же чувство охватывает меня. Столько еще недосказано и недопережито вместе. Какое-то письмо он написал мне в Москве и не послал его за «сентиментальность», как он сказал. Милый, какой он нескладный был в форме, сконфуженный, с добрыми, умными глазами. Но я хочу еще надеяться. Нет, когда кончится война, мы уж не будем разлучаться. Так и поселимся все вместе, хотя бы и в каком-нибудь далеком городе.

<...> Пиши, милый Лапутянин, каждое твое письмо, даже «холодное» — великая радость для меня.

Здесь есть славные люди, особенно старики-профессора. Вообще, все-таки люди, если они не фашисты, хорошая порода. <...>

¹ Ольга Игоревна Ильинская (1911–1986) была сокурсницей Г.М. Фридендера по филологическому факультету ЛГУ. По-видимому, в 1939 г., расставшись со своим первым мужем Г.С. Стрелиным (1905–1992), впоследствии известным радиобиологом, она вышла замуж за Я.Л. Бабушкина. В дружеском кругу молодых филологов Ляля, по воспоминаниям Л.М. Лотман, выделялась не просто красотой, а особым шармом (*Лотман Л.М.* Г.М. Фридендер в моей памяти... С. 449–450). Воспитанная «в окружении поместных дворян», получившая домашнее образование, поскольку «родители не хотели отдавать ее в советскую школу», она была «существом другого круга», в котором «господствовали полуаристократические-полубогемные привычки»; это была «русская женщина с французскими пристрастиями» (*Тамарченко Г.Е.* Судьба одного семейства. С. 59, 60).

Ильинская вполне разделяла марксистские увлечения своих друзей-студентов, и это помогло ей выработать твердый философский стержень для будущей лекционной работы. Свое призвание, которое она начала осознавать, работая в эвакуации в двух иркутских вузах, пединституте и университете, О.И. Ильинская обрела в преподавательской деятельности. Талантливейший лектор, прежде всего по зарубежной литературе, она сникала всеобщую горячую любовь студентов ВГИКа, где служила с 1945 г. С ней, в годы пребывания в лагере, у Фридендера была наиболее интенсивная, из всех его друзей, переписка. В январе 1945 г. он сделал ей предложение, но получил отказ. Крайне отрицательно к предложению отнеслась его мать: «Как жена, — писала А.М. Фридендер 14 апреля 1945 г., — Ляля оказалась не на высоте, и в этом отношении я вполне права. Бедный Яша был заброшен ею, также и Ганя (Г.С. Стрелин. — С.Б.) ХОРОШО в свое время. В быту домашнем богема не годится, перед нами живые примеры, тошно смотреть». К этому надо прибавить письменные сожаления О.И. Ильинской об ошибочности «новых» представлений, касавшихся супружеской верности как мешанского пережитка, которые она исповедовала в довоенное время (это, конечно, было известно А.М. Фридендеру). В апреле 1946 г. Ильинская вышла замуж за Б.С. Емельянова (1909–1991), театрального критика и литературоведа, после чего содержательность и интенсивность их переписки пошли на спад. С 1950-х гг. половина ее писем посвящена вопросу выплаты

долгов, поскольку Фридендер постоянно был заимодавцем Ильинской, причем очень терпеливым.

Александр Гаврилович Выгодский (Шура) (1915–1941), также однокурсник Ильинской, в соавторстве с Г. М. Фридендером написал комментарий к сборнику К. Маркса и Ф. Энгельса «Об искусстве», вышедшему под редакцией М. А. Лифшица (с его же вступительной статьей) двумя изданиями в 1937 и 1938 гг.; многократно издавался за границей; впоследствии был переработан в двухтомник и издан в 1957–1958 гг. Выгодского и Фридендера привлек к работе над комментариями Лифшица, который был недоволен тем изданием сборника, который ему удалось выпустить в 1933 г. при участии А. В. Луначарского и Ф. П. Шиллера. К началу войны Шура Выгодский был сотрудником Ленинградского радиокомитета и имел бронь; ушел на фронт добровольцем в июле 1941 г., был политруком роты, в октябре пропал без вести. Его очень любили друзья: «Шура беспредельно светился какой-то особой деликатностью. Он был чрезвычайно умен, имел свои собственные убеждения по самым острым вопросам современной жизни, но воздерживался от слишком категорических суждений» (*Тамарченко Г. Е.* Судьба одного семейства. С. 69).

² Ильинская жила с матерью в пригороде Иркутска.

³ Игорь Владимирович Ильинский (1880–1937), сотрудник, а затем (с 1929 г.) директор Яснополянского дома-музея Л. Н. Толстого, ученый секретарь (с 1932 г.) Государственного литературного музея, многократно (с 1905 г.) подвергался арестам, последний раз арестован 31 августа 1937 г. и приговорен к расстрелу.

3

О. И. Ильинская — Г. М. Фридендеру

<19 августа 1942 г. Иркутск>

Родной мой, получила это письмо на розовой бумажке такое не розовое¹. Эх, Юра, много нам с тобой попадало по голове и по иным частям тела. Такова русская судьба. <Пушкин> вздыхал: «Черт угадал меня родиться...»² И однако же он за любое счастье не согласился бы родиться даже и в раю. Будем и мы, как полагается русским, упрямы и «романтичны». Я знаю тебя и верю в тебя. Если я могу не «обижаться», то ты тем паче. Ты ведь умный, ты мой старшой. Это сибиряку обижаться позволительно, который от брюха живет. Ты думаешь, я не понимаю, как тебе горько, одиноко и страшно? Ты мой брат, и я с тобой все это переживаю, тем более что наши судьбы во многом совпадают. И за тебя мне беспокоино. Но все-таки ни писать, ни думать о том, что ты сомневаешься в значимости и истинности твоего, нашего юношеского «романтического» периода, — позволять себе нельзя. Конечно, во всем этом, особенно до окончания института, было немного Лапуты³, такая отдаленность от эмпирии, высота птичьего полета (и жизнь нас поправила, и Мих<аил> Ал<ександрович> тоже со своей «резиньницей»⁴, — впрочем, его поправка тоже была «с высоты птичьего полета»), но суть остается, и ты имеешь законное право гордиться и той твоей работой об искусстве⁵. Ну, на худой конец, надо вспомнить о том, что тебе было очень немного лет, когда ты в духовном смысле создал Яшку (а это, честное слово, не плохо) и помог вырасти Шуре.

Можешь помянуть и меня, хотя это и не столь большая заслуга — испечь такую меня. Все эти твои друзья, которые стольким тебе обязаны, — доказательство того, насколько реальны и жизненны были твои мысли. Отчего «были»? что изменилось? Ну, вот что я тебе скажу. Мне лично твоя закваска поможет перенести все самое тяжелое и трагическое, если только я останусь жива. Потому что как бы ни затягивалась «предыстория», какие бы поправки ни вносились, будущее человечество будет таким, как мы мечтали. О многом приходится думать сейчас, многое выглядит иначе, чем раньше, но мы не будем падать духом, мой Юра. Это ведь не Каньон⁶. И мы не одни. У нас обязательства перед Шурой и, вероятно, перед Яшей. <...> И перед Волей⁷. И перед тысячами, которые «на земле свое не долюбили»⁸. Твоя судьба, может быть, самая трудная, и что я могу тебе написать из своего Иркутска, где я пока более или менее сыта, где у меня мать, работа и книги? Я не знаю, что стало бы со мной в твоём положении. Я бы, наверное, плакала и жалела бы себя, но считала бы я, что надо выжить, вытерпеть и не падать духом. Считала бы я, что самое страшное — отчаяние и безразличие.

<Приписка С. Г. Ильинской:>⁹

Милый дорогой Юрочка, не знаю, как Вас ободрить. Посылаю Вам все тепло, скопившееся у меня на сердце. Нет такой раны, которая не зарубцевалась бы. Желаю Вам бодрости и здоровья. Главное, сохраните себя, чтобы увидеть наше торжество над проклятыми фашистами. Обнимаю вас и надеюсь, что мы еще проживем вместе в Удельной¹⁰.

Ваша душой С. Ильинская.

¹ Речь идет о письме Фридендера из лагеря, в котором он сообщал Ильинской о своем водворении в трудовой лагерь.

² Из письма Пушкина к жене от 18 мая 1836 г. (в автографе Ильинской описка: Гоголь). Далее Ильинская намекает на его письмо к Чаадаеву от 19 октября 1836 г. — ср.: «...клянусь честью, что ни за что на свете я не хотел бы переменить отечество или иметь другую историю, кроме истории наших предков, такой, какой нам Бог ее дал» (*Пушкин А. С.* Полн. собр. соч.: В 16 т. М.; Л., 1949. Т. 16. С. 117–118, 172).

³ В письмах Ильинская называла Фридендера «Принц Лапутянский» (или просто «Принц») и «Лапутянин» — по имени летающего острова Лапута (из третьей части «Путешествия Гулливера» Дж. Свифта), населенного учеными.

⁴ М. А. Лифшиц оказал огромное воздействие на весь студенческий кружок, в который входил Фридендер. Под «резиньницей» Ильинская подразумевает осмысление им проблем сталинского режима, проявившихся в 1930-х гг. Об отражениях в довоенных работах Лифшица проблематики сталинизма — с отсылкой к высказываниям Маркса о «вульгарной демократии» — см.: *Арсланов В. Г.* Проблема «термидора» 30-х годов и рождение «теории тождеств» // Михаил Александрович Лифшиц: [Сб. ст.]. М., 2010. С. 338–366. А. Д. Майданский, обобщая его высказывания по этому поводу, пишет: «В размышлениях над историей Страны Советов Лифшиц демонстрирует резиньницу почти евангельской глубины. <...> Девизом своего толкования истории революции Лифшиц избрал слова Пушкина “Понять необходимость и простить оной в душе своей” (видоизмененная цитата из записки Пушкина “О народном воспитании” (1826), где эти слова отнесены к родным декабристов. — С. Б.). <...> Он был готов понять и простить

своей матери-революции буквально все, включая кровь, ложь и ужасы сталинизма. Этот путь революции не был ошибкой, уверяет он. Альтернативы, по сути, не было» (*Майданский А. Д.* Консервативная революция: Лифшиц на уроках Гегеля // *Свободная мысль*. 2015. №3. С. 215). Лифшиц утверждал: «Есть глубокое основание, не ошибка какая-нибудь, не просто замысел злодейский чей-нибудь в этом, а тяжкий противоречивый ход истории, сознание отсутствия альтернативы <...> Дальнейший подъем страны мог совершаться только ужасным, иррациональным, варварским путем, в котором переплетались черты великого энтузиазма и темной энергии» (*Лифшиц М. А.* Очерки русской культуры: Из неизданного. М., 1995. С. 234). Ильинская, несомненно, была знакома с письмом Лифшица к Фридендеру о Пушкине 1938 г. (опубл. 1989), в котором рассматривалась проблема «гуманной резины»: «Чем независимее от наших претензий становится действительность, чем более разум становится ее *естественным* элементом, тем свободнее мы сами внутренне — в философском и художественном смысле» (*Лифшиц М. А.* Почему я не модернист? Философия. Эстетика. Художественная критика. М., 2009. С. 463).

⁵ См. прим. 1 к письму 2.

⁶ Возможно, Ильинская имеет в виду свои воспоминания о произведшем на нее огромное впечатление путешествии по Кавказу в начале 1930-х гг., когда она видела какой-то из каньонов. Впрочем, здесь может подразумеваться и безжизненность аризонского Большого Каньона.

⁷ Всеволод Андреевич Римский-Корсаков (1914–1942), сокурсник Фридендера и Ильинской, переводчик, внук Н. А. Римского-Корсакова. «Большим утешением для всех нас, — писал Тмарченко, — был Воля Римский-Корсаков. Этого высоченного роста ребенка всегда хотелось погладить» (*Тмарченко Г. Е.* История одной семьи. С. 69). В кругу Фридендера живо обсуждались обстоятельства смерти от истощения в январе 1942 г. «друга Воли», по словам И. М. Дьяконова в письме от 1 апреля 1942 г., «чистого, благородного, милого и наивного человека» «виновата его мать, т<ак> к<ак> она пожалела продать какие-то вещи». Это мнение разделяла и А. М. Фридендер, сообщившая в 1942 г. сыну, что Ю. Л. Вейсберг-Римская-Корсакова (1878–1942) не смогла пережить смерть Воли.

⁸ Цитата из поэмы В. В. Маяковского «Про это» (1923).

⁹ Софья Григорьевна Ильинская (ум. 1960), санитарный врач, мать Ляли.

¹⁰ Удельная — в то время дачный пригород Ленинграда.

4

О. И. Ильинская — Г. М. Фридендеру

<17 марта 1946 г. Москва>

Дорогой мой! Я не пришла в восторг от твоего письма, больше того, я уже вторые сутки думаю о тебе с печалью и беспокойством. Мне совсем не нравится твоя «новая жизненная философия». Я понимаю, что такое *настроение* возможно, может быть, даже необходимо после всех перетрясок, которые тебе пришлось перенести. И я, и все мы, усталые, ужасно хотим мира и тучочку комфорта, чтобы отдохнуть сначала, а потом жить. Мир для того, чтобы жить, но не для «домашнего прозябания», как ты пишешь. (Кстати, мне понравилось это слово, которым ты обозвал свой будущий домашний уют. В нем есть горечь и ирония, а значит, и начало преодоления этого чиновничьего идеала, который ты так страстно и логично излагаешь в своем письме.) Я понимаю такое настроение, но я не понимаю и не хочу мириться с тем, что ты возводишь его в ранг жизненной философии.

Яшка сидел в ленинградской блокаде и высидел оттого, что он хотел жить. Он не умер и не слег, а двигался, работал и поддерживал других, оттого что он мечтал о будущей жизни: не о тихом уголке, где я буду готовить ему пищу, а он читать газету, когда вернется со службы. Он мне писал о том, что после войны «добьется журнала, и мы будем вместе работать, вместе писать, вместе думать». Конечно, сама идея журнала была наивной, и Яшка первый посмеялся бы над ней после войны. Но не в этом дело, а в том, что для него «жизнь» означала жизнь в широком мире, со всеми людьми, с трудной, мелочной, часто унижительной даже борьбой. За что?

Да разве их жизнь в блокаде не отвечает на это? Прочти стихи Ольги Берггольц. В них светится по-женски сентиментально отраженный огонь Яшкиной души. Остаться людьми и в других сохранить человечность, которую душил голод, страх смерти, мороз.

Все это звучит абстрактно, поневоле абстрактно в письме. Но ты поймешь со всем недосказанным. Анка¹, когда была в Москве, хорошо сказала: «Чтобы идея не умерла». Мы говорили об «Идиоте» Достоевского и о том, имело ли какой-нибудь смысл мученичество князя Мышкина. Ведь все, кого он «жалел», погибли. И Анка сказала: «Чтобы идея не умерла».

Кто дал тебе смелость думать о себе, о своем будущем, о своей деятельности только за себя и за мать? Разве Яшкина смерть и Шурина смерть не накладывают на тебя никаких обязательств? «Зажить не торопясь, не для истории и даже не для науки, а просто так — ради уюта, симпатичных вещей и самого процесса жизни». Я тоже, может быть, еще больше, чем ты, люблю «клеякие листочки» и глупых птиц, но я лишусь этой любви, если я не буду жить только ради чего-то «более высокого, чем прожиточный минимум». Я не знаю, наука это или история, я знаю, что это люди. Не два или три, не Юра, не ты, не мать, не «семья». Это люди, с которыми я встречалась в иркутских вузах, в кино-институте, в МОПИ², люди, имена которых я забуду, и лица забуду, но они — главное содержание моей жизни, и оттого, что я люблю их, я и люблю «клеякие листочки», леса, горы, море, зверей, весь прекрасный, милый, богатый мир, который изуродован в этих людях.

Если я не буду иметь возможность говорить с ними в аудитории, я буду писать рассказы; если нельзя будет писать рассказы, я буду писать статьи; а если мне совсем нельзя будет жить среди них и для них, если мне станет все равно, чем бы не закончиться, и у меня ничего не останется, кроме «дома», пусть самого уютного, без Марины³, с обеспеченностью, то этот «дом» станет для меня казнью и тюрьмой. Очень по-эренбурговски звучит: «Я ненавижу разговоры о литературе и люблю шашлык»⁴, очень по-западному современно, так изящно-нигилистично. Ты ли это? А я люблю и разговоры о литературе, и шашлык, а пуще всего умных, добрых и гордых людей, которые не продают свою душу за клопное благополучие в теплом углу. И я ненавижу есть свой шашлык в одиночестве.

Может быть, все то, что я пишу, звучит очень инфантильно, очень наивно, но если так, то я предпочитаю наивность изящному скепсису и счастливому умению спокойно наблюдать, как «лик божий» уродуется в человецех. Я знаю, я убеждена, что все эти немудрые аксиомы, под которыми охотно подписался бы любой иркутянин, владеющий своим, своим, своим домом, и изрек бы их как свои заповеди, если бы он не был «тварь бессловесная», а только мычащая, аксиомы, которые ты мне торжественно преподнес, не *твоя жизненная философия*, а только настроение. Но ведь ты-то не тварь мычащая. Ты-то сам должен понимать это и не поддаваться усталости и слабости настолько, чтобы на полном серьезе разыгрывать эту избитую пьеску.

Прости меня, дорогой мой Принц, за мой приподнятый тон и за зывания даже к мертвым. Я давно не видела тебя, и мне страшно. Я не могу позволить даже тебе чернить моего Лапутянина, моего единственного, оставшегося в живых, благородного друга, украсть его у меня и у наших погибших. Нет уж. Изволь жить ради науки, пиши диссертацию, пиши статьи и не рассчитывай на вечную жизнь в Ярославле⁵. А пуще всего, и это, пожалуй, единственная вполне реальная опасность, в которую я верю, не женись сломя голову на какой-нибудь, пусть очень милой, женщине только ради перспективы «дома» и «ребятишек». Не женись, доверяясь приятелям, картинам уюта, которые рисует тебе воображение. Женись только тогда, когда вполне ясно будет, что нет другой, которую ты мог бы любить, и что эту ты любишь и будешь любить и без дома, и без уюта, и без всего остального. Иначе ты устроишь себе пытку, и все твои «листочки» и прелести бытия полетят к дьяволу. <...> Целую тебя. Надо бы тебе приехать.

¹ Анна Владимировна Тмарченко (1915–2015), дочь художника В. В. Эмме (1875–1920), жена Григория Евсеевича Тмарченко (1913–2000); они были однокурсниками Фридендера и в послевоенные годы преподавали русскую литературу в Черновицком пединституте. Вскоре в Черновцах с ними расправились как с «космополитами» (хотя Анка была русской), после чего А. В. Тмарченко работала в Свердловском университете, а затем в Ленинградском институте театра, музыки и кино (ныне Российский государственный институт сценических искусств). Яркий рассказ о своей жене дал Г. Е. Тмарченко в упоминавшейся выше книге «История одного семейства».

² Московский областной педагогический институт (ныне Московский государственный областной университет), в аспирантуре которого Ильинская начала учиться до войны; работа над диссертацией, под руководством М. Д. Эйхенгольца, возобновилась в 1944 г., после ее возвращения из эвакуации. Тогда же началась и преподавательская деятельность Ильинской в пединституте, которому она скоро начала предпочитать ВГИК: «...благожелательство и доверие, — писала Ильинская Фридендеру 12 февраля 1948 г., — создают дружеские отношения между мной и студентами, особенно студентами ГИК'а (кино), которые свободней душевно, живут без скучных тормозов, не так, как печальные мои "педы"».

³ Марина Левицкая, родственница (со стороны отца) Ильинской, с которой они, вернувшись из эвакуации, поселились в Москве в двенадцатиметровой комнате (старую квартиру на Большой Пироговский улице им не вернули, поскольку ее занял «генерал»).

⁴ По-видимому, Ильинская намекает на роман И.Г. Эренбурга «Необычайные похождения Хулио Хуренито» (1921) — ср.: «...надо напомнить о великом пренебрежении Учителя к роли искусства в современном обществе. Обедая с мистером Кулем, который под влиянием старого бургундского расчувствовался и заявил Хуренито, что больше всего на свете, даже больше долларов, любит красоту, Учитель чистосердечно ему признался: “А я предпочитаю эти свиные котлеты с горошком”» (*Эренбург И.Г. Собр. соч.*: В 8 т. М., 1990. Т. 1. С. 276–277).

⁵ После демобилизации из «трудовой армии» (ноябрь 1945 г.), Фридлиндеру был запрещен въезд в Ленинград, и он был направлен на работу в Ярославский пединститут; вернулся в Ленинград в конце лета 1946 г. В сентябре Фридлиндер представил в Институт русской литературы к защите диссертацию о Гоголе, которая была большей частью написана им в Жешарте (с февраля 1944 г., когда он был переведен из лагерной казармы на спецпоселение и смог снять отдельную комнату).

Библиографический список

- Дьяконов И. М.* Книга воспоминаний. СПб., 1995.
- Дьяконова Н. Я.* Мои воспоминания // Достоевский. Материалы и исследования. СПб., 2007. Т. 18.
- Лотман Л. М.* Г. М. Фридлиндер в моей памяти сквозь долгие годы общения и сотрудничества // Достоевский. Материалы и исследования. СПб., 2007. Т. 18.
- Морозов Н. А.* Мобилизованные группы советских граждан на предприятиях Коми АССР в 1942–1946 гг. // Покаяние: Коми-Республиканский мартиролог жертв массовых политических репрессий. Сыктывкар, 2013. Т. 10. Ч. 1. Система исправительно-трудовых лагерей в СССР. 1923–1960 / Сост. М. Б. Смирнов. М., 1998. С. 381.
- Тамарченко Г. Е.* Судьба одного семейства: На крутых поворотах советской истории. Киев, 2001.
- Эренбург И. Г.* Собр. соч.: В 8 т. М., 1990. Т. 1.

Berezkina S. V.

“YOU ARE INFINITELY DEAR TO ME...”
(FROM THE LETTERS OF YA. L. BABUSHKIN
AND O. I. IL'INSKAYA TO G. M. FRIDLINDER, 1941–1946)

Key words: G. M. Fridlender, correctional labour camp Sevzheldorlag, epistolary legacy, Manuscript department of Pushkin house.

The letters of G. M. Fridlender are published, opening unknown pages of the early biography of the scientist, in particular, his stay in the Sevzheldorlag correctional labor camp.

References

- D'yakonov I. M. *Kniga vospominanii*. St. Petersburg, 1995.
- D'yakonova N. Ya. *Moi vospominaniya. Dostoyevskii. Materialy i issledovaniya*. St. Petersburg, 2007. T. 18.
- Erenburg I. G. *Sobranie sochinenij: V 8 t. M.*, 1990.
- Lotman L. M. G. M. Fridlender v moyey pamyati skvoz' dolgiye gody obshcheniya i sotrudnichestva. *Dostoyevskiy. Materialy i issledovaniya*. St. Petersburg, 2007. T. 18.
- Morozov N. A. Mobilizovannyye gruppy sovetskikh grazhdan na predpriyatiyakh Komi ASSR v 1942–1946 gg. *Pokayaniye: Komi-Respublikanskiy martirolog zhertv massovykh politicheskikh repressii*. Syktyvkar, 2013. T. 10. Ch. 1.
- Sistema ispravitel'no-trudovykh lagerey v SSSR. 1923–1960*. Moscow, 1998.
- Tamarchenko G. E. *Sud'ba odnogo semeystva: Na krutykh povorotakh sovetskoy istorii*. Kiyev, 2001.